Никита Струве Франция

ТОМ ЗА ТОМОМ: ЗАМЕТКИ ПЕРВОИЗДАТЕЛЯ «КРАСНОГО КОЛЕСА»

Жизнь и творчество Александра Солженицына: на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост. Л.И. Сараскина. М.: Русский путь, 2013. С. 549–553

Первый Узел «Красного Колеса» оказался для меня неожиданно судьбоносным. Началом общения, служения Солженицыну, сначала заочного, послужили письма, которые он мне писал и которые тайным образом, воздушными путями, попадали ко мне, а я напечатал в их «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения». Их оказалось около двадцати пяти.

В начале 1971 года я получил от него письмо с совершенно неожиданной просыбой издать в исключительном порядке «Август Четырнадцатого», одновременно конфиденциальнейшим и незамедлительным образом. Я ещё вернусь к этим суперлативным формам у Солженицына. Обращение к «YMCA-Press» было вполне понятно, всё-таки это старейшее издательство в эмиграции, наиболее высокого призыва, издавшее всех крупнейших философов и богословов, но — обращение прямо ко мне? Я был там активным сотрудником, но безо всякой должности, и мне кажется, что таким обстоятельством я отчасти обязан журналу, который издаю теперь уже более полувека. Это журнал «Вестник РСХД», который стал проникать в Россию и читателем которого стал Александр Исаевич. Ну, а в дальнейшем он стал и активнейшим его сотрудником, скорее — критиком. Это обстоятельство было невероятно живительно для журнала. Будущие исследователи могли бы взять примерно такую тему для работы: «Александр Исаевич — сотрудник "Вестника РСХД"». Вот этому самому «Вестнику», знакомству с ним, я думаю, он был обязан отчасти молодому окружению приснопамятного о. Александра Меня, с которым, насколько я знаю, он познакомился ещё в свой рязанский период.

Таким образом, начиная с этого обращения, я оказался, что называется, в ауре Александра Исаевича, и именно в момент, когда он достиг одновременно начальной и конечной точки своего творческого пути. Начальной она была, конечной — тоже, и в этом есть целая диалектика начала и конца. Конечной точкой творческого пути, используя солженицынское, как всегда у него, удивительное наименование, стала «Дороженька», превратившаяся в длинную, славную, даже уже не Дорогу, а Аллею, хотя «аллея» — слово немножко неподходящее.

Я дал печатать «Август Четырнадцатого» нашей обычной типографии, которой руководил Леонид Михайлович Лифарь, брат знаменитого танцора, сказав ему, что как будто появился новый интересный писатель (разумеется, я скрыл имя автора). Но Леонид Михайлович оказался проницательным. Он мне на следующий день позвонил: «Нет, это никакой не начинающий писатель, это — Солженицын!»

Александр Исаевич неоднократно писал и говорил о том, что изначально план создать эпопею о русской революции зародился у него в самом конце 36-го года (до начала его реализации прошло целых тридцать лет). И от этого намерения он никогда не отказывался. Но человек полагает, а Бог располагает. Солженицын мог бы применить к себе библейские слова: «Бысть на мне рука Господня» (Иез. 37: 1). Не будь тяжеленнейших испытаний (близость к смерти и прохождение через смерть, которые потом, в каком-то смысле, ещё раз повторятся) — Александр Исаевич говорил об этом применительно к «Красному Колесу», — он не мог бы осуществить этот первоначальный замысел. Однако нам известно, что Солженицын как бы вдруг, внезапно, благодаря двум повестям конца 50-х и начала 60-х годов, стал всемирно известным великим русским писателем. Даже если бы он ничего не написал после «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрёнина двора», всё равно мировая слава осталась бы за ним.

«Один день Ивана Денисовича» сразу был переведён во многих странах, во Франции дважды или трижды даже, и произвёл революцию в менталитетах многих людей. И это потом уже продолжалось. Я кратко напомню — я об этом писал, — когда мне посчастливилось встретить в Париже Анну Андреевну Ахматову, мы разговаривали с ней в течение нескольких часов. Мы говорили о литературе; зашла речь о Паустовском, и я сказал: «Паустовского немножко не люблю, в общем, нельзя сравнить с Солженицыным». Она поддержала: «Вы совершенно правы. Когда появился "Один день Ивана Денисовича", я сказала — это должны прочесть все 100 миллионов. А когда я прочла, читала "Матрёнин двор", я плакала. А я редко плачу».

Это, может быть, некоторое кокетство, но, тем не менее, она действительно плакала, читая «Матрёнин двор». А потом Лидии Корнеевне, когда та её спросила: «Какое же впечатление на Вас произвёл человек Солженицын?», она сказала: «Он светозарен».

Я не встречал подобного определения, такой формулировки. Но, несмотря на всемирную славу, на жизненном пути писателя произошли события — это как раз отражено в тех письмах, которые я получил от него, — которые превратили его Дорогу в «Дороженьку» и вместе с тем и уже в нечто большее. И даже не в Аллею, как я уже говорил, а в Восхождение. Первая заминка — «заминка» тоже слово неподходящее — это покушение на жизнь Александра Исаевича, которое имело место в Новочеркасске и которое в течение нескольких месяцев приостановило работу как раз над «Красным Колесом» и поставило перед ним вопрос а выживёт ли он (об этом он мне писал довольно искренно). А затем другое обстоятельство, как бы продолжение той, как бы это сказать, исключительной судьбы Солженицына, — захват «Архипелага». Захват этой рукописи и трагические обстоятельства, последовавшие за ними — мы знаем о них — побудили Александра Исаевича, рискуя многим, рискуя своей семьёй, невзирая на возможные последствия, на такой акт жертвы, — снова обратиться ко мне с просьбой: издать тоже конфиденциальнейшим и незамедлительным образом «Архипелаг ГУЛАГ». И что ценил в моих действиях Александр Исаевич — эту конфиденциальность я всегда соблюдал.

Первый том «Архипелага» вышел, как известно, в рождественские дни 73-го года. Со своей стороны, я был убеждён, что за его появлением непременно последует высылка Александра Исаевича на Запад. После неудавшегося убийства во второй раз покушаться на его жизнь советскому правительству было, вопервых, невыгодно, а во-вторых, означало бы подписаться под абсолютной правдой «Архипелага». Сослать в Сибирь — было бы то же. Это всё равно что иметь занозу внутри своего тела, зная характер, стратегические способности и волю Солженицына. Так что самое удобное было выслать его на Запад, с расчётом, думаю, что, может быть, на Западе Солженицын, как бы это выразиться, зачахнет и потом будет уже гораздо проще за ним следить, строить ему там всякие козни и чинить препятствия. Так что насчёт кагэбэшников в каком-то смысле мои прогнозы оправдались, и я сказал своим сотрудникам, что второй том «Архипелага ГУЛАГ», корректуру, будет читать сам Александр Исаевич. Так это и случилось.

А потом, уже при появлении Александра Исаевича в Цюрихе, я потонул в его объятиях и испытал ту удивительную простоту, я бы сказал, удивительную простоту сложнейшего, даровитейшего, многозначительнейшего, исторически и литературно, человека. Замечу, что, прибегая к таким суперлативным формам прилагательных, я подражаю Солженицыну. Их очень много, даже, по-моему, было бы интересно составить список прилагательных на *-ейший*, потому что они выражают одновременно существующее и желаемое в себе и в других богатство сути. Эта суперлативная форма так часто встречается у Александра Исаевича, потому что его ощущение сути жизни, сути человека, сути Вселенной и мира, как у всех великих писателей, поразительно, оно у него выражается и семантически, и грамматически.

Есть ещё одно маленькое, личное, незабываемое воспоминание о Цюрихе, не только об объятиях. При первой же нашей встрече — его прорицание о самом себе. Уже тогда в нашей беседе он впервые высказал то, что мы слышали так часто потом: «Я вижу день своего возвращения в Россию». И, помолчав или, вернее, задумавшись, прибавил: «Вижу и день, когда и Вы попадёте в Россию». Для меня это было уж нечто странное, и я решил, что, может быть, здесь он чуть-чуть предаётся эмоциональности, вызванной такой переменой в жизни.

Очень важно вот это: «Я вижу день своего возвращения в Россию», потому что это, мне кажется, являет нам одну из ипостасей Солженицына-художника. Он видит, как всякий художник, в определённом смысле, но, тем не менее, у Исаича это — дар предвидения, и тогда я в какой-то мере это почувствовал, хотя до конца и не осознал. Но потом я вникнул в это поглубже, и мне кажется, что это один из методологических подходов Солженицына, — он визионер.

И второе, незабываемое тоже, конечно, — когда мы вместе с Исаичем оказались на другой же день по его приезде перед домом Ленина на Шпигельгассе. Материально осязаемая встреча с зачинщиком русской революции. Встреча с ним того, кто призван художественно раскрыть всю внутреннюю ложность того шаблона, легенды, которая составилась. Но — парадокс — преследующие нас с утра телевизионщики почему-то исчезли. Мы их тщетно пытались разыскать, но я теперь думаю, что это было к лучшему, потому что встреча писателя с Лениным

должна была быть личной, остаться именно тайной, опять-таки созерцательной. В художественном плане она должна была составить одну из глав, пропущенных в первой книге «Августа Четырнадцатого». А потом, как мы знаем, она переросла в отдельную самостоятельную книгу («Ленин в Цюрихе»), и в одну из самых замечательных, с моей точки зрения. И здесь я бы поспорил с теми, кто предпочитает роман «В круге первом». Я же, надо сказать, не делаю между большими произведениями никакой разницы. Мы плакали, когда читали «В круге первом», плакали, когда читали «Архипелаг». Я не могу отдать предпочтение ни одной из этих книг — мне кажется, все они на высочайшем уровне.

Вернёмся в Цюрих. Мы знаем, что отроческий замысел — написать о войне в Восточной Пруссии — привёл Солженицына пятнадцать лет спустя на поля прусских битв. Замысел привёл, или, можно сказать иначе, — судьба, или, ещё выше, — тайные нити судьбы, тайные двигатели судьбы. Нечто подобное случилось в Цюрихе. Встреча Солженицына с Лениным произошла тоже нечаяннонегаданно, Александру Исаевичу совсем было необязательно приезжать сюда, в этом городе просто жил его адвокат. Странные это сопоставления — неслучайные и вместе с тем случайные.

В теперешней публицистике, отчасти под влиянием голословных и непродуманных замечаний о. Александра Шмемана в его «Дневниках», укоренилось мнение, что Солженицын списывал Ленина с себя благодаря некоторому сходству с ним. Подобное схематизирование, представляется, — удобный повод чем-то Солженицына задеть.

В таком подходе кроется коренная методологическая ошибка. Всякий большой писатель рисует образ, пишет образ, видит образ изнутри себя и, естественно, в соответствии с этим видением в ходе работы пропускает его через себя. Если бы у Солженицына было только внешнее видение Самсонова или Николая, то эти образы не были бы такими гениальными.

Жорж Нива озаглавил свой прекрасный труд о Солженицыне, вернее, свою последнюю главу о «Красном Колесе» — «Гениальная неудача». Вначале мне это выражение не слишком понравилось, но по размышлении я его принял и отчасти одобрил, поскольку оно выражает основную черту великого дара Солженицына, то, что я называю coincidentia oppositorum (совпадение противоположностей). И мне кажется, что это было бы очень правильное методологическое направление подхода к Солженицыну. Конечно, здесь есть противоречие — если неудача гениальна, то она не неудача. А если она гениальна, то она — удача. Что касается «Красного Колеса», то слово «неудача» применимо именно в своём противоречии. Как, впрочем, это часто бывает именно у больших, гениальных писателей. Это касается конечной точки их творческого пути. Гоголь так и не написал второго тома «Мёртвых душ» не потому, что он умер; скорее, он умер оттого, что он его не написал. Достоевский тоже в каком-то смысле не дописал «Братьев Карамазовых». Александр Исаевич и написал, и не дописал «Красного Колеса», но тут отчасти вступает в силу закон — конечная правда художественно-исторического произведения. А конечная правда не существует, она ускользает от художников — именно потому, что она самая высокая правда, и такого полного, конечного пути у художников, может быть, и не бывает. Но это вполне вписывается в человеческую и творческую натуру Солженицына. Потому что в нем есть coincidentia oppositorum, о чём уже говорилось. Когда я начинаю их перечислять, я обнаруживаю, что чтото упускаю из этих oppositorum, которые совпадают. Солженицын по своей природе — безмерный и одновременно обладает высшим чувством меры.

Солженицын волевой предельно, стратег и тактик одновременно и, как я уже говорил, визионер-созерцатель. Волевой и обладающий крайней силой. И одновременно — я часто об этом писал, и меня даже упрекали в повторах — он видит в кенозисе основной путь, спасительный для человека, который начинается с ограничения, с самоограничения, но идёт дальше — вплоть до уничижения, изничижения. Я всегда люблю приводить образ Володина, который как бы обретает себя, проходя через уничижения тюрьмы.

В отношении Солженицына, мне кажется, не должно быть никаких прямых определений. Не следует называть его православным мыслителем, я думаю, ему бы это не понравилось.

Чувство провидения у него было абсолютное всегда: «Бысть на мне рука Господня». И то, что человек должен следовать кенотическим путём, для него также было органично и незыблемо, и он нам это преподаёт всем своим творчеством. Потому он одновременно укоренённый и универсальный.